

ПРАВЫЙ САПОГ ДЛЯ СТАРУХИ ТУМАРКИНОЙ

РАССКАЗ

Старухе Тумаркиной минуло восемьдесят пять, и охота жить в ней была сильно ослаблена. Тем более – охота к перемене мест. Все ее желания сводились к одному: дожить остаток дней, сколько ей там отмерено, среди привычных лиц и предметов.

Однако привычные лица: внук, в коем она души не чаяла, и его мать (ей, стало быть, невестка), каковую она, наоборот, не любила в тайне души, но наружно с нею была любезна, став целиком от нее зависимой после смерти сына, – привычные эти лица теперь были устремлены к Земле Обетованной, в открытый шлюз репатриации. Привычные же предметы – сплюшь упакованные, увязанные, меченные тряпичными ярлыками с порядковым номером и иностранными литерами, – громоздились вокруг нее, сидевшей на последней в опустевшем доме табуретке, и, казалось, были с ней заодно. Она была, в общем-то, таким же безгласным предметом, тюком, хоть ярлык нашивай, и не хотелось ей никуда, в том числе и в Землю Обетованную.

Но уже подкатил под окно проклятый автобус и с пневматическим выдохом раздал двери; уже пустились со всех ног, засновали, засуетились приятели покойного сына, хватая на вынос чемоданы, саквояжи, баулы, тюки; уже разводил пары на железнодорожном вокзале скорый Киев – Будапешт, и бригады хищных носильщиков отслеживали среди пассажиров евреев-репатриантов с их горами поклажи; уже заправляли керосин в баки авиалайнера израильской компании «Эль Аль» где-то в будапештском аэропорту; уже ненавистная невестка, сделав последний стезок на последней пришитой к баулу тряпице с нанесенными на нее чернильными буквами TUMARKIN, ISRAEL, торопливо перекусила нитку – все было готово к последней поездке из этого города, из этой страны, где худо-бедно, но просуществовало с десяток поколений Тумаркиных, три из которых (вернее, то, что от них осталось) теперь готовы были к убытию, переселению, историческому исходу, возвращению в родные пределы.

Только вот старуха Тумаркина – не совсем.

– Мама! – пронзительно крикнула невестка, заметив эту ее неготовность. – Вы все еще в одном сапоге! Люсик, где второй сапог?

Окрик адресовался старшему старухиному сыну, приехавшему проститься с матерью из Уфы и теперь бродившему меж тюков и чемоданов, коими уставлены были обе комнаты, в поисках запропастившегося сапога.

И тут старуха Тумаркина, до сих пор сидевшая безучастно и сгорбясь, старуха Тумаркина, плохо отличимая от узлов и тюков, обутая в один левый сапог, старуха Тумаркина после многодневного угнетенного молчания расклеила губы и отчетливо объявила капризным тоном примадонны:

– Не найдется сапог – никуда не поеду!

Старухе Тумаркиной вдруг блеснуло спасение в пропавшем сапоге, блеснуло и тут же увяло. Потому что старуха Тумаркина была умной старухой и понимала,

что даже не отыщется сапог, потащат ее и без него, потащат босой по снегу, как Зою Космодемьянскую, ну, не потащат – понесут, повлекут, устрелят, не босой, конечно, – в галоше, ботинке, в обмотках, но увезут, не бросят, хотя и обуза она им, бремя. Что ж, сама виновата – зажилась на белом свете, муж умно сделал, что помернее загодя. Из-за ее долготельства они и без того пересидели здесь. Кто поумнее – давно там, на исторической родине, поосвоился, прижился, балагурит на иврите.

Оставлять ее, в общем, есть на кого. Есть ведь еще один сын, старший, первенец. Вот он, только что сидел рядышком, печальный, безразличный к суете сборов. Его никто и не беспокоил, не звал на подмогу; нельзя – он здесь наиболее драматическая фигура, пусть побудет напоследок при матери, что убывает навсегда. Навечно. Как можно суетиться, снаряжать родную мать своими руками в последний путь? Но прибывший автобус и всеобщая взвихренность подняли и его на ноги, и он, не переменяя горестного выражения на лице, повел печальными глазами по углам в поисках сапога, как бы невольно включился в хлопоты – конечно, без той энергии и хваткости, которая владела всеми в эти минуты, включился только ради заботы о матери, разутый ее ноге, стынувшей среди гулявших понизу ледяных сквозняков. Старуха же Тумаркина получила совсем обратное впечатление: когда он сидел рядышком с нею, еще оставался какой-то шанс, что вдруг он возьмет и скажет: не едь, куда тебе такой, заберу к себе. Теперь же своей, пусть как бы и вынужденной, включенностью в сборы, в поиски последнего предмета ее дорожной экипировки, он исключал возможность чудесного для нее оборота дел. Она, конечно, не сильно на это рассчитывала. Хотел бы – мог бы дать ей приют еще после смерти младшего брата, не бросать на невестку. О! она бы всею душой. Несмотря на уфимскую невестку, которая тоже не бог весть что – не очень благоволит к евреям, тем более к свекрови. Она и к мужу-то своему, когда отрезвела от любви, не сразу притерпелась. А как не притерпеться – красавец, умница, главврач города, всеобщий любимец, коммунист, депутат. Она теперь и евреем-то его не числит. Иной раз даже делится с ним своими юдофобскими мнениями. Он ничуть не в обиде. Наоборот: считает актом полного доверия. Он там, в глубинке, и в самом деле несколько не ощущает себя евреем. Здесь толком и не знают, что оно такое, еврей, с чем его едят. Знают лишь, что евреи – плохие люди, *жиды*, но к конкретным, редким здесь евреям, с коими бок о бок живут и работают, понятия этого не прилагают. Еврей для них – некий фантом, жупел, не имеющий будничного воплощения, туманно-мифологический образ, что-то вроде басурмана, хазара и прочего незапамятного супостата. Он, бедолага, может, и приютил бы мать, будь она каким-то образом не еврейкой. Опасался, что старуха Тумаркина с ее горбатым носом и выкаченными глазами, на которую он похож лицом, – но на его мужской лад ее черты, да еще в сочетании с серыми, от отца, глазами, выглядят даже очень аванажными, придают некий южно-ресторанный шарм, – опасался, что нарушит она его устоявшийся образ, станет наглядным его еврейство, расшифруется его обаятельный вид, и всякий поймет, взглянув на его мать, что Тумаркин-то наш – еврей; – неужто? надо же! а я-то думаю, что это он такой... какой-то не такой. А раз еврей, то с ним ухо надо держать востро. Да и жена не уживется с нею под одной крышей. За сорок лет их супружества они встречались едва ли больше двух-трех раз. Да и то натянутой улыбки жене хватало ненадолго. Но он был признателен славянской своей супругнице за дипломатический такт.

Пожить же старухе Тумаркиной еще все-таки хотелось. А придет срок, помереть при сыне, пусть и трудно с невесткой-антисемиткой. А разве с младшей невесткой ей легко, пусть она и еврейка? Старуха Тумаркина всегда внутренне протестует против ее диктата, иной раз совсем невмочь, но она не перечит, только согласно кивает. А разве не изнывал от ее сокрушительной инициативы младший сын старухи? И кто знает, не ускорило ли это его кончину? Очень странную. Лег как-то

днем поспать на кушетку и не проснулся. Дома, как на беду, ни души не было: ни невестки, ни внука, ни ее, домоседки, – ушла на партсобрание в ЖЭК. Когда возвращались, нашли его бездыханным, а рядом упаковка со снотворным, почти опустошенная. Так что было, ой много было на сердце у нее против младшей невестки. И неизвестно, которая из них была немилей. Известно одно: уезжать означало для нее ехать навстречу смерти, а это совсем иное дело, когда смерть является в гости к тебе, и ты – хозяин.

Вот и исторгся из старухи Тумаркиной ультиматум, выглядевший капризом: «Не найдется сапог – никуда не поеду!» – ни дать ни взять наследная принцесса. И все тут же взапуски стали искать, точно это был не старый сапог с невесткиной ноги, десять лет назад вышедший из моды, а хрустальный башмачок.

И тут безутешный сын, родное чадо, включась в поиски, оказался среди всей этой кутерьмы самым из всех разумным, самым смышленным. Он всегда был умницей, не чета младшенькому – пылкому, недотепистому.

– Вынесите все вещи – и сапог найдется, – сказал он слабым, полным печали голосом.

Вся компания с новой энергией бросилась хватать поклажу и утаскивать в автобус.

Необутой ее ноге было холодно: все двери были распахнуты настежь, студёные сквозняки шастали понижу. Но она готова была терпеть холод – пусть бы только длилось и длилось пребывание в этих стенах. Да она и с левой ноги сбросила бы невесткин сапог, сгинь он к чертовой матери!

Еще не все вещи были убраны, когда предстал на освобожденном полу проклятый сапог, на который старуха Тумаркина воззрилась с ужасом, будто это был, скажем, *испанский сапог*, орудие средневековой пытки.

Сын неспешно, как бы нехотя подобрал его и стал заботливо обувать ее озябшую ногу. Когда он натягивал первый сапог и надежд остаться она не питала, ей даже приятна была сыновья забота. Теперь же, когда он надевал второй, с пропажей которого мелькнула у нее наивная надежда, она не чувствовала даже прикосновений, точно нога уже ей не принадлежала, точно обряжал он ее для похоронного ритуала.

Дальнейшее она воспринимала сквозь некую пелену. Она не давала себе отчета, когда повели ее под руки в автобус, забитый манатками выше окон; под одну руку вел не то старший сын, не то младший, покойный, под другую – покойный же муж Соломон. Не помнила, как взревел мотор и автобус покатился; она лишь искоса взглянула на покидаемый дом, на яблоневый сад, посаженный Соломоном сорок лет назад, что стоял теперь, припорошенный не то белым снегом, не то белым кипением яблонева цвета. Не помнила, как вела ее через кишевший людьми вокзал, как сидела в зале ожидания рядом с печальным сыном, пока возглавляемая невесткой команда провожатых воевала с мафией носильщиков, заломивших цену, превышающую стоимость купейного билета до Будапешта, прекрасно понимая, что имеют дело с евреями, рвущимися в свой еврейский рай со своими бебегами, и как тут не подработать. И так, она сидела с сыном, который что-то шелестел ей, какие-то мелкие наставления, поправлял шаль, совал носовой платок, спрашивал, не принести ли попить, а она в ответ шептала: «Ничего мне не надо».

И пробила минута, когда подлетел к ним кто-то из провожатых, кажется, вернейший друг покойного сына, всегда представавший по первому зову. Разгоряченный атмосферой перрона, войной за очередность погрузки, он нервно объявил, что пора на посадку, и они оба с сыном почтительно повлекли под локотки старуху Тумаркину, которая совсем не чуяла под собой земли, перебирала лишь ослабевшими ногами, вставленными в невесткины рыжие сапоги, и просторные раструбы голенищ похлопывали по иссохшим ее икрам.

На платформе, чуть в стороне от сутолоки, привлекала внимание машина скорой помощи. Рядом на носилках лежала, свернувшись калачиком, еще одна старуха. Тут же громоздилась гора чемоданов и узлов с нашитыми ярлыками.

– Вот видите, мама, – встретила с назиданиями старуху Тумаркину невестка. – Очень большая женщина, а тоже едет.

Лежавшая на носилках старушенция смотрела невидящими, отрешенными глазами на происходящую суматоху.

– Едет – да не доедет, – вслух заметил стоявший неподалеку не то пассажир, не то провожающий, а скорее всего, ни то ни другое, ибо ни у пассажира, ни у провожающего нет досуга для наблюдений и умствований.

– А может, и доедет? – усомнился другой наблюдатель, державший руки сложенными на груди.

– Что-то непохоже, – стоял на своем первый.

Получилось вполне как у Гоголя с двумя мужиками, что обсуждали – доедет ли вихляющее колесо до Москвы.

– И не стыдно вам! – присрамила эти праздные языки невестка. – Живой человек, а вы... Ей зато в Тель-Авиве вручат тысячу шекелей. Прямо в аэропорту. Вам назло!

– А сколько это выйдет на наши деньги? – поинтересовались наблюдатели.

– Четыреста долларов! Сами перемножьте на ваши паршивые рубли.

– Ишь ты, – удивились наблюдатели и поприкусили языки.

Как бы там ни было, но старуха Тумаркина несколько ободрилась, увидевши такую никудышную пассажирку, совсем уж напоминавшую поклажу: как-никак, сама она перемещалась на своих двоих. У нее чуть отлегло от сердца: в последний путь ей теперь была компания – все-таки веселей.

Тем временем семейство, имевшее живой груз в виде свернувшейся калачиком бабуся, хлынуло в вагон с чемоданами. И старуха Тумаркина с горечью отметила, что ее компаньонка осталась на носилках в стороне.

– Эй, куда же вы?! Мамашу не забудьте! Тыщу шекелей! – крикнули им в спину двое праздных наблюдателей.

Лишь рассовав, растыкав по полкам и рундукам свою поклажу, семейство хватилось, что бабуся все еще на перроне. А между тем новое семейство уже пошло приступом и пустилось хватать да метать свои манатки. Пришлось криком и мольбами взывать, чтоб дали проход, дабы внести забытый на носилках живой (едва живой) груз, лежавшую в позе эмбриона старушенцию и желавшую лишь одного: покоя, предсмертного сосредоточения. Так, на носилках, ее и подали в вагон над головами, сотрясаемую, колеблемую от напряженных усилий многих рук, и она вплыла в сумрак вагонного тамбура.

Лихорадочная посадка в вагоны вдруг привиделась старухе Тумаркиной эвакуацией, которую она уже испытала в 41-м с двумя детьми на руках, перед вступлением в Киев немецких войск. Старшему шел двенадцатый, младшему – полтора.

И еще всплыла в ее памяти бомбежка под Харьковом. Поезд тогда стал в чистом поле, чтобы просто перевести дух, так как Харьков прошли без остановки. Многие беженцы-пассажиры, воспользовавшись стоянкой, повысыпали из вагонов по нужде. Младшенького оставила спящего в вагоне. Местность ровная, уходить от состава далеко нельзя. И люди, разбившись на два лагеря, мужской и женский, присели орлами, на виду друг у друга – не до церемоний. За естественным делом и застал их немецкий авианалет. «Ложись!» – заорали бывалые голоса среди нарастающего в небе рева. И все растянулись на земле, там и сям белея наготовю, не успев со страху ее прикрыть. Бомбовые взрывы взметались вдоль полотна, комья земли, щебень долетали до лежавших ничком пассажиров. Было очень страшно, но еще страшнее рвало душу терзание, к кому из сыновей бежать: один остался в вагоне, другой – в мужском стане. К счастью, налет был короток и урона не нанес. Вскоре

она смогла прижать к сердцу обоих. Разлука была короткой, но чреватой вечностью.

Много лет спустя вечная разлука все же настала, и тоже среди бела дня, и снова в те минуты, когда она отлучилась, и снова младшенький спал...

И вот пришел черед навеки разлучаться со старшим. Они снова сидели рядом, но уже в тесно забитом вещами купе. Теперь сын, ввиду близости расставания, забрал иссохшие ее ладони в свои руки, и они оба смотрели, как за окном на перроне невестка с внуком и другими, убывавшими из грешной этой земли, прощались с толпой друзей и родичей. Международный вагон в составе поезда был единственный, и теснилась толпа именно здесь. Слезы, объятия, выстрелы пробок шампанского, радость вперемешку с печалью...

В старухе Тумаркиной настало теперь спокойствие, коим награждает обреченных неизбежный удел.

– Не переживай, мама, – с перехватом в горле говорил сын. – Вот увидишь: все образуется. Все будет хорошо. Даст Бог, еще свидимся.

Старуха Тумаркина лишь кивала головой и глядела сквозь вагонное стекло на происходившее на перроне надрывно-веселое действо. Звуки сюда не проникали, и все в раме окна выглядело мелькающими кадрами телепередачи.

– Не грусти, мама. Не надо грустить, – все приставал сын. – Что ты такая грустная?

Тут она снова высказалась, вторично за сегодняшний день:

– Там хоронят без гроба.

Сын дернул кадыком, хотел что-то сказать, да осекся.

– Кто тебе сказал такое? – только и сумел он выдать из себя.

– Закон такой. Обычай, – ответила она. – В саван зашивают. Тахрихим.

«Какая, в общем-то, разница?» – подумал он, однако не произнес. Но она ответила, точно расслышала его вопрос:

– Разница есть. В гробу лучше.

– Почему? Кому лучше? – вырвалось у него на этот раз.

– Покойнику. Мне.

– Что ты говоришь?! Зачем ты это говоришь? – с мукой и укором возопил он.

– Они, – указала она глазами на тех, кто за окном, – получают новый дом. У них будет крыша над головой. У меня не будет ни крыши, ни крышки.

– Почему не будет?

– Там хоронят без гроба, – повторила она.

– Чуть! – крикнул он.

Она сама почувствовала, что напрасно на такое повернула разговор. Ему и без того было несладко. Досада на него выплеснулась сама.

Повисло гнетущее молчание. С платформы все же пробивался шум прощаний. Сын многое бы отдал, чтобы быть там, на перроне, среди живых. Затянувшееся расставание с матерью рвало ему душу.

– Этого не может быть, – вымолвил он уже помягче. – И зачем об этом думать? Ты еще поживешь в доме...

– Иди туда, простись с невесткой и племянником. Скоро дадут гудок, – сказала старуха Тумаркина, сто лет не ездившая поездами.

– Успеется, – досадливо отмахнулся он, чтобы показать: главное для него – она.

– Иди-иди, – настаивала она. – Я побуду одна.

Он с отчаянием взглянул ей в глаза и вдруг, уронив голову на ее колени, зарыдал безутешно.

– Прости меня, мамочка, – произнес он совсем по-детски сквозь рыдания.

Старуха Тумаркина гладила его по волосам и смотрела в окно. Там уже пошли прощальные испуленные объятия.

- Иди, иди, Люсенька, Ступай. Все будет хорошо.
- Прости меня, прости, – все повторял он.
- Прощай, сынок!
- Прости, мама! – напоследок крикнул он и ринулся вон из купе.

В тамбуре он столкнулся с взошедшими в вагон пассажирами. Глаза их были безумны от бури противоречивых чувств.

...Старуха Тумаркина скончалась в бомбоубежище, при первой же воздушной тревоге, во время вскоре разразившейся войны в Персидском заливе, когда на Израиль летели с арабской стороны советские ракетные снаряды, которые ей представлялись немецкими. Вообще ей вдруг показалось, что это та же война, которую она уже однажды выстрадала. На продолжение – ее уже не хватило.

Умерла она с противогазом на лице.